

У ТЕЛЕВИДИЕНИЯ как явления много достоинств и недостатков, но чудо, может быть, лишь одно — то, до какой степени оно приближает к нам человека, ведущего ли, актера ли.

Скажем, я считаю **Анатолия Адоскина** выдающимся телевизионным артистом, но заранее и ревниво готов отстраниться от радостного согласия со мной, которого жду от поклонников его телепортретов Кюхельбекера, Дельвига, Дениса Давыдова, Жуковского, Баратынского... Да, да, это прекрасные работы. Думаю, молодая классика телеискусства. Но сейчас я не о самих по себе спектаклях, где Адоскин, как сказано в титрах, «автор и исполнитель». Я о том его незагаданном, неожиданном качестве, в котором он возник на экране как бы уже за пределами и помимо изображенных им славных поэтов.

Стороной я узнал: Адоскин готовит спектакль о Козьме Пруткове — и удивился: он? Нет, конечно, я представляю себе протейские способности актера: помню, как сперва просто душно связал его первый телеуспех, «Что мой Кюхля?», отчасти с попаданием в типажность, с пластикой актера, привыкшего играть в кино неудачников и растаял, и вот теперь так похоже воплотившегося в чудака и «урода» Кюхлю. А потом обнаружилось, что Адоскин, тощий и долговязый, стал опять же похож (похож!) и на округло-медлительного Антона Дельвига — ну и т. д., и т. д. Но, повторю, Козьма? Как его-то изобразит — и изобразит ли — «автор и исполнитель», мягкий, интеллигентный, непременно искавший в тех, кого брался играть, духовную близость.

И вот начинаю фантазировать. А что? — думаю я. Конечно, Прутков, гениальное дитя Жемчужниковых и Алексея Толстого, — чинуша, бурбон, графоман, ретроград, сочинивший «Проект о введении единомыслия в России» (который в его, как оказалось, относительно наивные времена выглядел абсурдным мечтанием зарвавшегося бюрократа), но таков ли он от рождения и по натуре? Ведь (вспоминаю я) Д. С. Лихачев доказал, что, например, мягчайший, сладчайший Манилов — вольно-невольная копия императора Николая, учредившего показательный культ дружества и семейных добродетелей, а Маниловка с беседками и бельведерами — Царское Село в комической миниатюре. Ну да! Мягкий, незлой, по-своему симпатичный, словом, чисто «адоскинский» Козьма Прутков, не похожий на свой единственный и оттого канонический портрет, — таков он получится даже интереснее, а может, и истиннее, ибо за ним и в нем — эпоха, таящим духом которой он пропитался, а не личные, частные, то есть случайные свойства. Как и нашенький, нынешний бюрократ, у которого (тем и опасен) не начертано же на лбу социальное его положение!..

Что произошло? Ничего особенного. Просто я, всего-навсего телезритель, взял да и спланировал за актера его работу (неважно, что скорее всего ошибся). И не мог не спланировать, если этот актер — мой; да, да, моя духовная личная собственность. Если сам он, нимало о том не заботясь, а возможно, и не желая, стал уже не просто актером, но телегероем, фигурой как бы самодостаточной и уж во всяком случае самодвижущейся, и я, зритель, рассчитываю с ним на прямой контакт.

Рассчитываю — самонадеянно? Фамильярно? А то и неблагодарно? Артист-то, можно сказать, из кожи лезет, меняет кожу, дабы всякий раз представлять предо мною иным, не таким,

как прежде, а я за его искусством тупо иду его самого, не-преображенного, можно сказать, домашнего — нормально ли это для наших взаимоотношений с искусством?

В РОМАНЕ-притче Германа Гессе «Игра в бисер» есть печально-звительные слова о «фельетонной эпохе», об «эпохе фельетонных», которая долго предшествовала тому счастливому времени, когда смогла наконец возрасти гессевская культурная утопия, гармоническая страна Кастанья. И в вышеупомянутую эпоху, говорит Гессе, метя, понятное дело, в свою (а попадая и в нашу) современность, в ходу были биографические эссе, выразительно заявляющие о характере отношений

людей. Напротив, нам еще предстоит вернуть своим гениям человеческий, общепонятный и общезначимый облик. Предстоит отучиться воспринимать классиков как начальство, оцепенело стоя перед ними навтыжку. Попросту предстоит одолеть в киноподчиненном сознании их школьный, плоский, авторитарный образ, где сочетаются не подлежащие сомнению добродетели и утилитарно-назидательная предназначенность, — то, что не спишешь на пороки школьных программ, ибо сами эти пороки рождены казенным, тоталитарным мышлением.

Но с чего это я, заведя будто речь о «малом экране», сбился на классиков? Вот с чего: то, как мы относимся к личности

знаете что? Информацию!..

В общем, вы знаете все, что происходит в стране: урожай и недороды; энтузиазм и кражи со взломом; пуск шахты и катастрофу на шахте... Вы знаете, почему нет гречневой крупы, а не только то, что из Ташкента в Москву была доставлена самолетом первая клубника... Да, да, и при этом вы целиком и полностью остаетесь советским человеком». Василий Гроссман. «Жизнь и судьба»...

...И неужто мы с вами дожили? А если так, то хорошо бы и нам понимать и видеть себя на безбоязненном уровне информации.

Что там министры или члены ЦК, о которых мы, надо надеяться, со временем также узнаем,

жистое течение его обкатанных монологов, где (с моей точки зрения) правда искусно смешалась с неправдой, боль с позой, а в целом вышло актерство. Мастеровитейшее, о да, — однако актерство, и это на телевидении, где, как старался я доказать, и в профессиональном актере предстает, проступает, даже главенствует не роль, не маска, но непридуманный человек.

Художник выиграл... Ой ли? Выиграл тот, кто властно отодвинул, заслонил, задавил собою художника, которому (когда он художник, творец, а не что иное) не должны же быть свойственны пристрастные счеты с теми, кто не признал, недодал, недонаградил. Тот, который и человека с его несправедливо человеческим «сором», несомненно, чем-то больно ранимого, в чем-то, наверное, и привлекательного, надежно укрыл за эффектным стереотипом борца, страстотерпца и спасителя отечественной культуры.

Нет, художник и человек — если они вообще разделены — все же крепко проигрывают, когда собеседник не озадачивает их вопросом, а, словно бы заробев, почтительно потакает простительным человеческим слабостям. Самоуважительно-сти, например. И вот любопытнейшая, по всему судя, личность, Никита Сергеевич Михалков, вдруг оказывается в положении не совсем серьезном: не дрогнув, принимает тезис своего визави относительно собственного «аристократизма», начиная даже и развивать эту тему; свое избирничество, встретившее его уже в колыбели, подтверждает перечнем, вероятно, самых близких друзей дома, но, возможно, не самых непрекаемых духовных авторитетов: писатель Соболев, «дядя Лева Кассиль»; а заговорив о «малой родине», конкретизирует демократичнейшее из понятий в образе элитарно-дачной Никольной горы...

После телебеседы я многократно встречал усмешки на сей счет, но ведь несправедливо же, граждане, если даже и небезвинно: не в этом же самая суть человека, снявшего «Пять вечеров» и тем обнаружившего ненаигранную сострадаемость к «простой» жизни. И не улыбаются бы ироничнейшие из зрителей, если бы собеседник нарушил этот вальяжный покой, если бы сам оказался ироничней, смелей, непочтительней, помешавший и здесь сыграть всего только роль — избранныка? аристократа? — за которой не так легко различить «дисгармонически прекрасное лицо — человека» (слова Корнея Чуковского, сказанные, понятно, по другому поводу).

Как ни придирайся, однако Урмас Отт — одна из наших теленадежд, которой давно бы пора перестать пребывать в одиночестве, — появление коллеги-соперника обещало бы прибавление не количества, но качества. Демократичность не может быть уникальна, она не рекламный образец, а, прошу прощения, ширпотреб, — и обратите внимание, как программа «Взгляд», где вряд ли любой из ведущих вам одинаково по душе (моя душа решительно и ревниво отобрала Политковского и Мукосева), как она обставляется по популярности изысканнейшего Владимира Молчанова. А отчего? Думаю, оттого, что для нас увлекательно само по себе непривычное соревнование ведущих. Это работает на демократию, которая, как известно, без возможности выбирать, отвергать, свободно любить и ненавидеть — и не демократия вовсе. Как беседа без страсти и противоборства — не беседа, а обычный авторитарный монолог, разложенный на два голоса.

Станислав РАССАДИН.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ГРИМА НА МАЛОМ ЭКРАНЕ

любопытствующих потомков с великими предками: «Фридрих Ницше и дамская мода шестидесятых-семидесятых годов», «Любимые блюда композитора Россини».

Мораль: тот интерес к личности, который мы именуем обывательским, уводит от главного, от «души в заветной лире», — мораль, что говорить, справедливейшая, а по нынешним обстоятельствам и злободневная: чего стоит наше, так сказать, бытовое пушкиноведение, то самое, что «вокруг Пушкина», где интерес к частной жизни много больше, чем и к душе, и к лире. Однако...

Вот вслушиваясь в себя и думаю: отчего у меня сейчас не возникает желания метать молнии по этому малопочтенному адресу, подбирая словечки поядовитее: «опошление», «клубничка»? Отчего я — даже — готов искать оправдания и такому интересу к гениям?

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда»... Мне кажется, в строчках Ахматовой звучит: и не надо вам знать, зачем? — но уж коли узнаете, не удивляйтесь, потому что всякое бывает. Да и предупреждай нас или не предупреждай, все равно ведь захотим увидеть и «сор», ничего с нами не поделаешь. Конечно, в идеале должна торжествовать «кастальская» иерархия ценностей, однако...

Вот то-то и оно, что опять — «однако».

Превратившие в ругательство слово «обыватель» («обывательский интерес» и т. п.), мы, опасаясь, еще далеко не заслужили права на иронию, доступную Герману Гессе. И то, что он насмешливо заклеил как «фельетонную эпоху», для нас не только не самое страшное, но даже необходимый этап на пути к постижению своих классиков.

Скажете: хорошо, кабы лишь этап, — а ну как немалая часть так на нем навсегда и задержится? Опасливости не излишня. Не стоит обольщаться относительно легкодоступности культуры, — ее, культуру, мы и без того чересчур поспешно и победно путали с тем, что вполне достижимо и уже достигнуто: со всеобщей грамотностью. Так долго хвалились, самая, мол, читающая страна, и только теперь догадались осведомиться: читающая — что именно?

Нет, нам пока еще рановато пугаться, что Пушкин у нас частенько «в туфлях и халате», так сказать, не больше, чем че-

ловек. Напротив, нам еще предстоит вернуть своим гениям человеческий, общепонятный и общезначимый облик. Предстоит отучиться воспринимать классиков как начальство, оцепенело стоя перед ними навтыжку. Попросту предстоит одолеть в киноподчиненном сознании их школьный, плоский, авторитарный образ, где сочетаются не подлежащие сомнению добродетели и утилитарно-назидательная предназначенность, — то, что не спишешь на пороки школьных программ, ибо сами эти пороки рождены казенным, тоталитарным мышлением.

Уже писали, что недурно бы нам «по-человечески», а не «по-анкетному» знать тех, «кого мы выбираем на высокие посты», — ну хотя бы так, как знаем человеческий, частный облик президента Рейгана или премьер-министра Тэтчер. (К слову: тогда и глагол «выбирать» утратит свою условность). И дело не только в том, что в этом, конкретно и именно в этом никто нам не пособит лучше, чем телевидение, но оно и само сможет проверить свои изначальные демократические способности.

«ИНТИМНОСТЬ» телеобщения — вот первородное и завидное свойство, названное Владимиром Салпаком в книге «Телевидение и мы».

Интимность — в том смысле, в каком и стоит ею дорожить, — это доверительное, слово, где корень «вер» от «верить»; это — когда меня не держат ни за дурака, ни за чужака. Когда же мы не можем быть откровенны друг с другом — не то что боимся, просто не можем, не научились еще, — пресловутая эта интимность исключена. Или вырождается. И вот, с одной стороны, сановитая мрачность, величавая избранность какой-нибудь «Девятой студии», где с нами (нет, мимо нас) общаются полубоги, обремененные информацией, из которой нам ежели и перепадает что, то весьма невеликая толика, а с другой — непрекращающееся воркование и заигрывание, когда и от хорошего слова «интимность» отдает буднично-пикантным «интимом».

А ведь интимность, достойная уважения, это не что иное, как безбоязненность информации.

«Ах, товарищи родные... вы представляете себе, что такое свобода печати? Вот вы мирным послевоенным утром открываете газету, и вместо ликующей передовой, вместо письма трудящихся великому Сталину, вместо сообщений о том, что бригада сталеваров вышла на шахту в честь выборов в Верховный Совет, и о том, что трудящиеся в Соединенных Штатах встретили Новый год в обстановке уныния, растущей безработицы и нищеты, — вы находите в газете,

что они есть за люди; начнем хоть с персон не закрытой, а публичной профессии... Впрочем, уже начал — Урмас Отт, деликатно потрошавший режиссеров, артистов, художников.

А, начавши, уже напоролся на упрек в нарушении приличий: «...У. Отт упорно подводит своих героев к «скандальным» моментам: часть вопросов непременно начинается словами «о вас говорят, что...» Но раз слухи ходят, как еще и расправиться с ними, ежели не «отбившись»? Но главное: откуда такая жалость к тому, кто, бедненький, «вынужден» отвечать не только на те вопросы, что маслом по сердцу?.. Хотя «откуда» — тоже не из трудных вопросов. Ясно, откуда: «— Скажите, вы, конечно, сегодня испытываете законную гордость?.. Да, я сегодня испытываю законную гордость!..» Вспоминается вычитанный когда-то безошибочный ход некоего люмпена, стреляющего ресторанные обеды: «— Вы, конечно, не будете докучивать колбасу?» Попробуй, скажи после этого: нет, буду.

Настоящее интервью, как я понимаю, всегда хоть немножко сражение, пусть не более кровавое, чем за шахматной доской, — со своими ходами, уловками и невинным коварством. А у нас... Тот же Урмас Отт только-только успел показать — пока еще робкий, но уже несомненный — норов беспокойного собеседника, а мы уж его одергиваем.

Быть может, он это невольно учитывает? По крайней мере беседы его с Никитой Михалковым и Ильей Глазуновым меня разочаровали.

Сам Отт где-то признался, что, интервьюируя Пугачеву, избрал умеренно смиренную мину: надел студенческий свитерок, притулился в уголке московской квартиры, предоставив хозяйке вести беседу, куда ей угодно, — и прав. Дама! Дива! Пусть выглядит точно такой, какой и привыкла выглядеть. Но с Глазуновым...

Художник может торжествовать: он выиграл сражение с Оттом вчистую. Думаю, выиграл еще до начала: когда в финале беседы я услышал, что Глазунов преподнес собеседнику «для знакомства» свой роскошный альбом, я досадливо-понимающе крякнул. Конечно, пустяк, всего лишь любезность, но, будучи воспитанным человеком, попробуй потом заместо «спасибо» тревожить дарильца «скандальными» контраргументами, ощутимо включаться в беспоро-